

18+

СЕГА САШИН



КОЙНЫН'О.

18+

Сега Сашин

Койнын»о

«Издательские решения»

Сашин С.

Койнын»о / С. Сашин — «Издательские решения»,

Камчатка, наши дни. Археолог Глеб Соболев находит древний осколок бивня с трещиной, внутри которой — чужое небо с двумя солнцами. Спецотдел «Горло» объясняет: осколок — ключ к мифическому копыю Койнын&арос;о. Трещина в мире расширяется, и закрыть её может только тот, кого выбрал осколок. Глебу предстоит подняться на Ключевскую сопку, войти в Изнанку — место забытых воспоминаний — и решить, готов ли он потерять себя, чтобы спасти всё остальное.

© Сашин С.

© Издательские решения

Содержание

Предупреждение для читателей: 18+	6
ПРОЛОГ. ТОТ, КТО УШЁЛ В СОПКУ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕПЕЛ И ПАМЯТЬ	13
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Койнын»о

Сега Сашин

Дизайнер обложки Сергей Юрьевич Гурьянов

© Сега Сашин, 2026

© Сергей Юрьевич Гурьянов, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-1573-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предупреждение для читателей: 18+

Книга содержит сцены психологического и мистического насилия, элементы телесного хоррора, описание потери памяти и идентичности, а также мрачную, давящую атмосферу, связанную с древними камчатскими верованиями. Отдельные эпизоды могут вызвать сильный эмоциональный отклик, чувство тревоги и дискомфорта. Рекомендуется для совершеннолетних читателей, готовых к серьёзному и глубокому погружению в тёмную мифологию.

ПРОЛОГ. ТОТ, КТО УШЁЛ В СОПКУ

Камчатка, устье реки Камчатки, 1787 год

Старик умер не сразу.

Он сидел на берегу, привалившись спиной к замшелому валуну, и смотрел на вулканы. Камни за его спиной были чёрными, с зелёными подтёками лишайника, и держали старика так надёжно, будто ждали его здесь сотни лет. Восемнадцать лет Ключевская сопка молчала — ни дыма, ни гула, ни пепла. А в это утро дымила.

Дым не был серым, как обычно, когда ветер несёт туман с океана. Не был белым, как пар из кратера после дождя. Дым был красноватым, густым, как кровь, разбавленная водой. Он поднимался из жерла тяжелыми клубами, и в этих клубах старику, которого нашли на берегу — виделись лица. Людей. Зверей. Или не людей и не зверей.

Старик смотрел на этот дым и улыбался. Или морщился — трудно было разобрать, потому что лицо его превратилось в бересту: сухую, потрескавшуюся, с глубокими морщинами, похожими на трещины на иссохшей земле. В этих морщинах застрял пепел — мелкий, серый, ввевшийся в кожу так глубоко, что казался частью плоти. Губы старика потрескались до крови. Кровь засохла чёрными корочками.

Мальчишка-камчадал, ходивший за плавником на берег, увидел его издалека. Утро было морозным — градусов под тридцать, но мальчишке было тепло в его кухлянке из оленьих шкур, сшитой матерью ещё прошлой осенью. На ногах — торбаса из нерпичьей кожи, мягкие, скользкие на мокрых камнях.

Сначала он обрадовался — подумал, кто-то из стойбища сидит на берегу, можно подойти, поздороваться, может, табаком угостят или сушёной рыбой. Мальчишка побежал быстрее, размахивая руками, чтобы привлечь внимание.

Но когда подошёл ближе, шаг замедлился сам собой. Что-то внутри — не разум, не сердце, а другое, то самое, что предки называли чутьём, — сказала ему: стой. Не подходи. Смотри издалека.

Старик не шевелился.

Даже ветер, который всегда дул с океана — солёный, злой, заставляющий щуриться и отворачиваться, — не трогал его седые волосы. Ветер дул, поднимал снег с земли, кружил его в воздухе, бросал в лицо мальчишке — а волосы старика лежали неподвижно, как будто время вокруг остановилось. Как будто старик был не частью этого мира, а картинкой, нарисованной на стекле.

Мальчишка обошёл валун с другой стороны, чтобы увидеть лицо старика. И замер.

Он увидел глаза.

Глаза были открыты. Широко, как у человека, который смотрит на что-то очень далёкое и очень важное. Зрачки — серые, выцветшие, почти сливающиеся с белками. Но в них не было пустоты. В них было небо. То самое — красное, с двумя солнцами.

Мальчишка сделал шаг назад — и споткнулся о камень. Упал на спину, больно ударившись копчиком. Хотел вскочить — не смог. Ноги не слушались. Тогда он пополз назад, загребая снег руками, не сводя глаз с лица старика.

И тут он увидел рану.

В груди старика зияла дыра. Не кровавая — сухая, чистая, как если бы кто-то вырезал кусок плоти скальпелем. Края раны не были рваными — они расходились ровными линиями, как трещина на старом льду, когда река вскрывается по весне. Изнутри не было видно ни сердца, ни лёгких, ни рёбер. Внутри была темнота. Такая глубокая, что мальчишке показалось — если заглянуть туда слишком долго, то можно провалиться. Упасть в эту темноту и падать вечно.

Он всё-таки вскочил — рывком, на подгибающихся ногах — и побежал.

Он бежал до стойбища, не останавливаясь. Воздух обжигал горло, лёгкие горели, в боку кололо так сильно, что каждые десять шагов приходилось хватать ртом воздух. Но он бежал. Сквозь снег, сквозь кусты, сквозь замёрзшие лужи, которые хрустели под торбасами и проваливались.

Ворвался в ярангу, упал на колени перед старейшиной — старым Кынным — и замычал. Не мог выговорить ни слова. Язык будто примерз к нёбу. Губы тряслись, слюна текла по подбородку, слёзы — по щекам.

Кынн сидел у огня, курил трубку и смотрел на мальчишку долго, не мигая. Потом вздохнул — тяжело, как человек, который знал, что этот день настанет, но всё равно надеялся, что нет.

— Веди, — сказал он.

Ковылял до берега почти час. Ноги его уже не слушались — правая волочилась, оставляя на снегу глубокую борозду, левая ступала неуверенно, будто искала опору. Кынн опирался на палку из моржового бивня — гладкую, отполированную временем, с вырезанными на ней духами.

Но глаза видели ещё хорошо. Слишком хорошо для человека, которому перевалило за семьдесят. Глаза были острыми, цепкими, они замечали каждую трещинку на снегу, каждый след зайца, каждую тень.

Мальчишка шёл впереди, показывая дорогу. Он уже не плакал — слёзы замёрзли на щеках, превратились в ледяные дорожки. Он дрожал — от холода, от страха, от того, что ещё не понимал, но уже чувствовал.

Кыннын посмотрел на тело, на рану, на вулкан. На дым, который из красного стал почти чёрным. Потом обвёл взглядом берег — пустой, белый, без единого следа, кроме тех, что оставили они с мальчишкой.

— Отойдите все, — сказал он.

Голос его был тихим — но слова разнеслись над берегом, потому что ветер вдруг стих. Будто сама природа затаила дыхание.

Старейшина опустился на колени рядом с телом. С трудом — хрустнули суставы, заныла спина. Протянул руку к ране — но не дотронулся. Остановился в сантиметре от края.

— Койнын'о, — сказал он. — Сломанный бивень. Он нашёл его. Или оно нашло его.

Молодые охотники, столпившиеся за спиной старейшины, переглянулись. Они не поняли. Они не слышали этого слова раньше — оно хранилось только в памяти старейшин, передавалось из уст в уста на тайных обрядах.

— Когда Ворон Кутх нёс землю, — сказал Кыннын, не поднимая головы, — бивень треснул. Великий бивень, на котором держался мир. Мамонт — первый мамонт, тот, что нёс на спине все земли, от заката до рассвета, — бивень его треснул под тяжестью. Осколок упал в жерло вулкана. В самое сердце огня. И прожёл дыру. Насквозь — через землю, через небо, через всё, что между ними.

Он замолчал — глубоко вздохнул, как ныряльщик перед погружением.

— Тот, кто возьмётся за эту кость, сможет ударить туда, где мира больше нет. Сквозь трещину. Сквозь пустоту. Он не промахнётся. Никогда. Даже если закроет глаза. Даже если цель в другом мире. Даже если цели нет — он выдумает её и поразит.

— Где копё? — спросил молодой охотник по имени Тыныг.

Тыныгу было двадцать лет — широкоплечий, крепкий, с руками, которые ломали рёбра нерпе одним ударом. Он не боялся ни медведя, ни волка, ни русского казака с ружьём. Но сейчас в его глазах стоял страх.

Кыннын поднял голову. Посмотрел на Ключевскую. В тот самый миг облака над кратером разошлись, как занавес на представлении. Показалось небо. Но не то, что висело над Камчаткой — низкое, серое, в разводах тумана, с редкими звёздами, которые здесь, на берегу, казались близкими, как лампа в яранге.

Другое.

Красное. С двумя солнцами. Одно большое, багровое, висящее почти у горизонта — оно занимало полнеба. От него шёл свет, похожий на закат, но закат длится минуты, а здесь небо было красным всегда. Второе — маленькое, жёлтое, высокое, оно было похоже на то солнце, которое Тыныг видел тысячи раз, но слишком далёкое, слишком холодное.

А между солнцами — тени. Длинные, тягучие, они тянулись от невидимых предметов и шевелились, как живые. Тыныг смотрел на них и не мог отвести глаз. Ему показалось, что он видит там людей. Или не людей — у них были тела, но не было лиц. Они двигались — ходили, наклонялись, вставали. Кто-то шёл к краю неба, кто-то падал, кто-то стоял неподвижно и смотрел вниз — прямо на Тыныга.

— Там, — сказал Кыннын. — И здесь. Оно везде и нигде. Оно в трещине.

Тело не стали хоронить.

По древнему обычаю, когда к человеку прикоснулся дух из-за пределов, тело оставляют сидеть — на ветру, на снегу, на солнце. Не закапывают в землю, не сжигают на костре, не бросают в море. Оставляют — чтобы дух мог выйти обратно, если захочет. Чтобы не держать его силой в этом мире, который для него стал тесен.

Тыныг хотел накрыть лицо старика платком — из уважения, из страха, из жалости. Платком из нерпичьей кожи, мягким, тёплым, который грел бы мёртвые щёки. Но Кыннын перехватил его руку.

— Не закрывай ему глаза, — сказал старейшина. Голос стал жёстким, как базальт, как та стена, которую они не видели, но чувствовали. — Ему теперь некуда смотреть. Он сам стал смотрящим. И если ты закроешь ему глаза — он будет смотреть сквозь веки. И увидит тебя. И запомнит.

Тыныг отдернул руку.

Остаток дня они просидели в ярангах. Никто не выходил — даже женщины, которым нужно было принести воду из проруби, даже дети, которым хотелось бегать и играть. Женщины не разжигали огонь — боялись, что пламя привлечёт внимание того, кто смотрит сверху. Дети не плакали — их затыкали грудью или тряпками, зажимали рты ладонями. Собаки прижались к земле и скулили, уткнув морды в лапы.

К утру тело исчезло.

Не сгнило. Не растащили звери — волки в этих местах были сыты, песцы наглы, медведи голодны после спячки, но ни один не подошёл. Тело просто вышло из этого мира. Растаяло. Как вода сквозь решето. Как дым над кратером.

На пепле осталась только тонкая трещина. Длиной в локоть, шириной в палец. Края её светились тусклым белым светом, который угас через час.

Кыннын приказал завалить трещину камнями. Самыми тяжёлыми, какие смогут унести. Тыныг принёс три валуна — каждый в два его кулака, каждый такой тяжёлый, что двое едва поднимали. Их насилу вчетвером сдвинули.

Никто не подошёл близко. Никто не спросил зачем. Даже Тыныг, самый молодой и самый любопытный, в ту ночь не посмел.

Но через ночь — посмел.

Луна зашла за тучу, и берег погрузился в темноту. Ветер выл в трубах яранг, снег скрипел под невидимыми лапами. Тыныг лежал на своей циновке, смотрел в потолок и не спал.

Он встал, когда дыхание соседей стало ровным. Оделся — молча, без единого шороха. Вышел из яранги и пошёл к берегу.

Камни лежали на месте. Тяжёлые, холодные, они вмерзли в снег и не двигались. Тыныг отодвинул один — упёрся плечом, навалился всем телом, заскрежетал зубами. Камень поддался — медленно, нехотя, будто не хотел открывать то, что скрывал.

Второй — легче, он скатился сам, ударился о третий и замер.

Третий Тыныг откатил ногой.

Трещина открылась.

Он встал на колени — снег промочил штаны, холод обжёг кожу. Наклонился. Заглянул.

Сквозь трещину были видны звёзды. Те же самые, что над Камчаткой — холодные, колючие, с синими и белыми огнями. Но их было больше. Намного больше. Всё пространство, которое он видел, было залито звёздами — как будто кто-то высыпал на чёрную ткань целое море песка. Звёзды мерцали — одни быстро, другие медленно, третьи — как сердце, неровно.

И одна из звёзд смотрела прямо на него.

Не мерцала. Не двигалась. Просто висела — ниже всех, ярче всех, белая, с синевой по краям. Она была похожа на глаз. На глаз, который открыли и забыли закрыть.

Тыныг смотрел на неё и чувствовал, как что-то тёплое растекается по затылку, по позвоночнику, по ногам. Не больно. Не страшно. Странно. Как будто кто-то внутри него перебирал воспоминания, как чётки.

Звезда моргнула.

Тыныг отшатнулся, упал на спину, зарылся лицом в снег. Лежал так долго — минуту, час, вечность. Когда поднял голову — звезда смотрела по-прежнему.

Он закрыл трещину камнями. Теми же руками, которые ещё минуту назад дрожали. Первый камень поставил на место — тяжело, с глухим стуком. Второй — привалил к первому. Третий — сверху.

Вернулся в стойбище, лёг на циновку и не сказал никому ни слова.

Той же зимой он ушёл в горы.

Не взял ни собаки, ни ружья, ни запаса еды. Просто встал утром — когда все ещё спали — и пошёл. Жена окликнула его, когда он вышел из яранги: «Ты куда?» — он не обернулся.

Дети заплакали — он не ускорил шаг. Собака, его верная лайка, побежала за ним, тявкнула, лизнула руку — он оттолкнул её. Она села в снег и завывала.

Его видели на склоне Ключевской. Он шёл прямо вверх, туда, где земля пахла серой и под ногами хрустел свежий шлак. Он шёл и не оглядывался. Вслед ему тянулась тонкая трещина — в земле, в воздухе, в самом пространстве. Такая же, как на груди у старика. Она открывалась там, где он ступал, и закрывалась за его спиной.

Последним его видел старый Кыннын. Сидел у входа в ярангу, курил трубку и смотрел в сторону вулкана.

— Ушёл, — сказал он. — Кто следующий?

Никто не ответил. Ветер завыв в трубах, и старейшина поплёлся в тепло.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕПЕЛ И ПАМЯТЬ

Глава 1. Человек, который помнил всё

Наши дни. Посёлок Раздольный, Камчатский край. 23 февраля. Три часа ночи.

Глеб Соболев проснулся от того, что кто-то ходил по крыше.

Сначала он подумал — ветка. Но ветки над домом не было, он сам спилил её прошлым летом, потому что она скребла по шиферу и не давала спать. Ветка была толстой, сухой, с чёрной корой, и когда ветер дул с севера, она царапала кровлю как кошачьи когти. Глеб взял ножовку, вылез на крышу, перепилил ветку в трёх местах и скинул вниз. Ветка упала в сугроб, пробила его до земли и застряла. Глеб хотел вытащить, но плюнул — пусть лежит. С тех пор на крыше было тихо.

Потом подумал — белка. Но белки зимой спят — не то чтобы спят глубоким сном, как медведи, но становятся вялыми, медлительными, редко вылезают из гнёзд. А если и вылезают, то прыгают — с ветки на ветку, с дерева на дерево. Прыжок звучит иначе: два удара — лапы оттолкнулись, потом мягкий шлепок — приземлились. А здесь шаги были отдельные, с паузами, как у человека, который проверяет каждую ногу, прежде чем перенести вес.

Потом подумал — снег. Но снег сползает пластом — с хрустом, с шорохом, с глухим ударом внизу, когда глыба падает с крыши на землю. Зимой это случается постоянно — то здесь, то там. Но снег сползает резко, быстро, а шаги были медленные, осторожные.

Глеб сел на кровати. Простыня сползла, и холодный воздух ударил в разгорячённое тело. Он спал в одной футболке и трусах — печка работала исправно, в доме было градусов двадцать. Но сейчас печка прогорела — Глеб не следил за ней, потому что читал до двух ночи статью о миграции древних охотников через Берингию.

Захотелось чихнуть — но он перетерпел. Затаился. Прислушался.

Внутри затренькало что-то древнее. Тот самый холод между лопаток, который не спутаешь ни с чем. Кто-то назвал бы это интуицией. Кто-то — паранойей. Кто-то — остатками животного чутья, которое у современного человека атрофировалось, но иногда, в темноте и тишине, просыпается.

Глеб знал другое название: память предков.

Тысячи лет назад его предки — не тот Глеб Соболев, который защищал кандидатскую по археологии, а настоящие, древние, жившие в землянках и бившие рыбу острогой, — вслушивались в такую же темноту. Они облизывали палец и поднимали к ветру, чтобы понять, с какой стороны дух. Они замирали на месте, когда слышали треск сучка, и ждали — пока сердце успокоится. Они выживали потому, что умели слушать.

Глеб тоже умел слушать.

Он не зажигал лампу.

Комната тонула в сумерках — луна была, но низкая, зимняя, её свет едва пробивался сквозь два слоя старой фланели, которой Глеб завесил окна вместо штор. Фланель была когда-то бордовой, но выцвела до грязно-розового, истончилась, кое-где порвалась. Но Глеб не менял её — потому что привык. Потому что в Раздольном не до штор.

Он знал эту комнату на ощупь. Знал, где стоит тумбочка с кружкой — в кружке вчерашний чай, заварка застыла коричневой плёнкой, и если пошевелить пальцем, плёнка треснет, как тонкий лёд. Знал, где лежит стопка книг — самая верхняя «Камчадалы: быт и верования» Мерлина, 1972 года издания, с выпадающими страницами и запахом старой бумаги, который Глеб любил. Знал, где стоит стол — в двух шагах от кровати, прямо, если идти от изголовья.

На столе лежала полевая тетрадь. Глеб не видел её, но знал, что она открыта на семьдесят восьмой странице. И знал, что красная ручка засохла, оставив кляксу на слове «наконецник». И знал, что рядом лежат несколько листов кальки с зарисовками керамики — орнаменты, похожие на вороньи следы, волнистые линии, круги, вписанные в круги. Семь лет он собирал эти осколки.

Семь лет.

Керамику, наконечники стрел, обугленные кости, черепки с орнаментом, который никто не мог прочитать. Он знал о древних камчадалах больше, чем любой живой человек на этой земле. Он знал, как они солили рыбу — большими кусками, в деревянных кадках, пересыпая солью, которую добывали из морской воды. Знал, как строили балаганы — из брёвен, без единого гвоздя, с крышей, засыпанной землёй, чтобы тепло не уходило. Знал, какие песни пели на медвежьём празднике — гортанные, тягучие, похожие на вой ветра в трубе.

Он знал их имена. Те немногие, что дошли до нас в записях Крашенинникова и Стеллера: Тыныг, Кынын, Авдотья Хорхой. Он произносил эти имена вслух, когда никого не было, и чувствовал, как они ложатся на язык — тяжело, с гортанным призывом.

Он также знал, что на крыше никого не может быть.

Посёлок Раздольный стоял на отшибе — на берегу Малой Козыревки, в том месте, где река делает крутую петлю и уходит в сопки. Дорога сюда ведёт одна — от трассы Мильково — Ключи, через лес, через болота, через мост, который каждую весну смывает. Ближайшие соседи — в трёх километрах, за перевалом. Старик Анатолий, который глух на оба уха. Семья Сидоровых, которые уехали в город ещё в октябре и не вернулись. И больше никого.

Дорога зимой не чистится. Вообще. Ни грейдером, ни трактором, ни лопатой. Только на «Ниве» да на вездеходе — и то если знать броды. Если не знать — можно провалиться в наледь, пробить колёсами тонкий лёд и мёрзнуть до весны.

Единственное транспортное средство Глеба — его «Нива» 1996 года выпуска. Цвет — бывший зелёный, теперь ржавый с проблесками былой зелени. На правом крыле — вмятина от столба, на левом — царапины от веток. Бампер отваливался, но держался на честном слове и двух хомутах, которые Глеб купил в автосервисе в Петропавловске три года назад.

В салоне пахло бензином даже на заглушённом двигателе. Где-то в системе была микро-трещина — маленькая, незаметная, но упрямая. Глеб искал её два месяца — облазил весь двигатель, обнюхал каждый шланг, облизал каждую трубку (не буквально, но почти). Не нашёл. И смирился. Теперь он знал: если не проветривать салон каждые полчаса, можно потерять сознание. Не отравиться — просто вырубиться, как от угара.

Связь здесь ловилась через раз. И только на крыльце. И только если поднять левую руку. И только если стоять на одной ноге. Глеб проверил это эмпирически — выходил на крыльцо в разную погоду, в разное время, с разным положением тела, записывал результаты в тетрадь. Он вывел закономерность: левая нога, поднятая на пятнадцать сантиметров, даёт две палочки сигнала. Правая — одну. Пятка — ноль. Если поднять обе ноги — но это сложно, приходится опираться спиной на косяк — то появляется третья палочка, но она мигает и быстро гаснет.

Он мог бы написать об этом научную статью. «Зависимость уровня сотового сигнала от положения тела в условиях камчатской периферии». Но он не писал статей. Он писал диссертацию. Восьмой год.

Тем не менее, кто-то ходил по крыше.

Три шага. Пауза. Ещё два. Пауза. Один.

Глеб взял фонарик со стола — старый, жёлтый, с квадратной батареей, которую уже не купить в магазинах. Фонарик достался ему от отца. Отец купил его в 1995 году в Москве, в переходе на Маяковской, у таджика с лотка. Фонарик был китайским — дешёвый пластик, хлипкая кнопка, тусклая лампочка. Но он работал. До сих пор.

Глеб не включал его. Просто держал в руке, сжимая холодный, скользкий пластик. Пальцы дрожали — не от страха, от напряжения.

— Выходи, — сказал он в темноту.

Голос не дрогнул. Это его удивило. Он вообще считал себя не храбрым — скорее осторожным до трусости. В детстве боялся темноты — спал с ночником до одиннадцати лет. В юности боялся экзаменов — зубрил до потери пульса, переписывал шпаргалки, которые никогда не использовал. В зрелости боялся начальника отдела археологии — пожилой женщины в очках, которая могла в любой момент сократить ему ставку.

Но сейчас голос был ровным. Спокойным. Как у человека, который принял решение, о котором ещё не знает.

Крыша скрипнула.

Не доска — весь дом скрипнул. Как живое существо, которое поворачивается на другой бок. Брёвна пошли волнами — от конька до фундамента. Где-то в углу что-то щёлкнуло. Где-то на чердаке — заскрипело.

Послышалось шуршание.

Кто-то спускался по стенке. Ногти? Когти? Пальцы? Цеплялись за неровности старого сруба — за щепы, за сучки, за следы от топора, оставшиеся ещё от деда, который строил этот дом в пятидесятых. Дед Глеба по матери — Пётр Егорович, ветеринар, человек суровый и молчаливый. Он срубил этот дом за одно лето — один, без помощников. Топором работал так, что щепки летели на десять метров. Сучки не срезал — оставлял, для красоты, как он говорил.

Теперь по этим сучкам кто-то спускался.

Глеб сидел не двигаясь. Сердце колотилось где-то в горле, но он не кашлял. Не сглатывал. Не дышал.

Снаружи было темно. Луна стояла где-то за тучами — Глеб не видел её, но знал, что она там, потому что снег отливает сизым, ровным светом. Не белым — белым бывает снег днём, на солнце. Ночью он сизый, холодный, как пепел.

Берёзы у забора бросали тени. Корявые, узловатые, похожие на пальцы старухи, сжимающей невидимую палку. Тени шевелились — ветер качал ветки.

Оконное стекло тронули пальцем.

Один раз.

Звук короткий, сухой, твёрдый — ноготь по стеклу. Не удар, не стук, а именно прикосновение. Такое, каким проверяют, настоящее ли стекло или просто плёнка. Или таким, каким останавливают секундомер.

Глеб встал.

Медленно — не из осторожности, а потому что ноги затекли. Сделал три шага к окну. Дёрнул занавеску — старую фланелевую простыню, которую повесил вместо штор ещё осенью и так и не снял. Простыня была тяжёлой, пыльной, пахла нафталином — Глеб переложил её в ящик, когда переезжал, и она пропиталась запахом навсегда.

За стеклом стояла старуха.

Он не узнал её, но почувствовал — должен знать. Где-то в глубине памяти, в том самом отсеке, куда уходят лица прохожих, случайные попутчики и продавщицы из сельпо, хранилось это лицо. Или не лицо — ощущение лица. Знакомое. Страшное. Не то чтобы страшное — неправильное.

Лицо было как старая береста.

Сухая, вся в морщинах — но не в тех мелких, какие бывают от возраста, а в глубоких, как трещины на земле во время засухи. Морщины расходились от глаз в разные стороны — одни вверх, к вискам, другие вниз, к подбородку, третьи — прямо, через щёки, к ушам. Будто кто-то разрезал лицо на лоскуты и сшил заново, но не очень аккуратно. Иголлка шла криво, нитки торчали.

Но глаза были молодые.

Глеб никогда не видел таких глаз. Слишком светлые, почти белые, без желтизны, без голубизны — просто прозрачно-серые, как вода в горном ручье. В них не было возраста. Было что-то другое — то, что он не мог назвать. Пустота? Нет. Память. Огромная, неподъёмная память, которая не помещается в одном человеке.

Она смотрела на него, и Глеб чувствовал — не взглядом, а чем-то другим — что она видит не его лицо, не его одежду, не его комнату. Она видит его насквозь. Видит, что он ел на ужин (тушёную картошку с килькой). Видит, что он читал перед сном (статью про миграцию). Видит, что он мечтает (защитить диссертацию и уехать в Москву). Видит, что он боится (потерять память совсем).

Волосы старухи были спрятаны под чёрный платок — тот самый, какой носят старухи на Камчатке, если хотят показать, что они из коренных. Платок был завязан узлом под подбородком — узел кривой, поспешный, будто она завязывала его на ходу, не глядя.

Поверх платка — выцветшая штормовка с рыбозавода имени Ленина. Куртка когда-то была тёмно-синей, но выцвела до серого. На спине — большими буквами «РЫБЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА». Ленин был нарисован плохо — криво, с перекошенным лбом и маленькими глазами.

Глеб помнил этот завод. В детстве отец возил его туда за копчёной кетой — огромной, жирной, с янтарной кожей и розовым мясом. Завод закрыли в девяностых, но куртки остались. Их донашивали — кто на рыбалку, кто в гараж, кто так — по хозяйству.

Старуха смотрела на Глеба.

Не моргала.

Глеб смотрел на неё. Тоже не моргал. Так прошло несколько секунд — или несколько минут. Время за окном и время в комнате пошли разными скоростями. Глеб заметил это — луна за окном дёрнулась. Сначала она была над берёзой, потом — через секунду — перепрыгнула на два метра в сторону. Как будто кто-то вырезал кусок неба и склеил края.

— Ты ищешь, — сказала старуха.

Не спросила. Утвердила.

Глеб молчал.

— Койнын'о, — прошептала она.

Губы её не разжались. Ни на «К», ни на «О», ни на «Ы». Ни на «Н», который обычно требует языка и нёба. Слово вышло из закрытого рта — как пар из трещины в вечной мерзлоте. Оно было не громким и не тихим — оно было везде. В стекле, в воздухе, в половицах под ногами, в собственной крови Глеба.

— Сломанный бивень. Ты нашёл его в отчёте Кенеля. Ты думал, это сказка.

Глеб похолодел.

Не от страха — от узнавания. От того, что слово, которое он читал только в старых тетрадях, только в сканах с пожелтевшей бумаги, только в комментариях к этнографическим экспедициям, — это слово прозвучало вслух. В три часа ночи. В посёлке, где нет ни души на десять километров.

Отчёт Кенеля.

Георгий Кенель — этнограф, ученик самого Иохельсона, тот самый, чьи работы издавали в 1920-х, а потом запретили, потому что он слишком много писал про шаманов и слишком мало про классовую борьбу. Кенель работал на Камчатке в 1925—1927 годах. Вёл дневники, собирал сказки, записывал имена духов и названия обрядов, которые уже никто не помнил. Он был последним, кто слышал живую речь камчадалов — не ту, которую записывали Крашенинников и Стеллер, а ту, которую говорили в ярангах, у огня, под вой ветра.

Его рукописи хранились в закрытой части архива Кунсткамеры в Петербурге. В комнате №47, на третьей полке, в картонной коробке с надписью «Кенель Г. Н. Личный фонд. Не издано». Коробка была завязана бечёвкой, на бечёвке — сургучная печать с гербом Академии наук.

Глеб полгода пробивал туда доступ. Писал письма в отдел рукописей — они не отвечали. Звонил — трубку брал вежливый молодой человек, который говорил: «Ваш запрос принят, ждите решения». Ездил в Москву, уговаривал знакомых знакомых, которые когда-то копали на Камчатке и помнили его ещё аспирантом. Одна знакомая — женщина лет пятидесяти, с кислым лицом и тяжёлым взглядом — сказала: «Я позвоню куда надо. Но ты мне потом поможешь с каталогом». Глеб согласился. Каталог был на триста страниц. Он всё равно согласился.

Он получил доступ в ноябре. Летел в Петербург «Аэрофлотом» — шесть часов полёта, пересадка в Москве. Шёл в Кунсткамеру по Невскому, мимо Зимнего, мимо Медного всадника, мимо толп туристов с селфи-палками. Надел белые хлопчатобумажные перчатки — тонкие, скользкие, в них неудобно переворачивать страницы.

Бумага была жёлтой, хрупкой, края крошились под пальцами. Он работал медленно — по часу на страницу. Не потому, что плохо читал — потому что боялся. Боялся порвать. Боялся не заметить важное. Боялся, что кто-то войдёт и скажет: «Время вышло».

Скачал сканы семи тетрадей. Пятую тетрадь перечитывал трижды. Ночью, в гостинице «Санкт-Петербург», при тусклом свете настольной лампы.

В пятой тетради была запись, сделанная с чужих слов. Показания старой камчадалки Авдотьи Хорхой, 1874 года рождения. Кенель записывал её рассказ в стойбище Хорхой — том самом, которого больше нет. Она говорила по-русски с сильным акцентом, пропуская окончания и переставляя слова. Кенель старался записывать дословно, сохраняя ошибки и странные обороты.

«Койнын'о — это копьё из бивня. Белое, длинное, с трещиной посередине. Внутри трещины — небо, не наше. Два солнца. Одно красное, одно жёлтое. Земля там другая — из пепла.

И тени ходят без людей. Копьё нельзя взять. Оно само берётся. Тот, кто держит его — может ударить в любую дыру. Даже сквозь мир. И не промахнётся».

Кенель тогда записал в дневнике: «Информантка явно мифологизирует, но детали удивительно конкретны. Требуется проверка».

Глеб сделал пометку на полях: «Проверить негде. Материал отсутствует».

Он никому не говорил об этой находке. Даже научному руководителю. Даже матери.

— Кто вы? — спросил он сейчас.

Голос наконец-то дрогнул.

Старуха улыбнулась.

Улыбка не была доброй. Не была злой. Не была ласковой и не была жестокой. Она была древней — такой глубокой, что её можно было резать ножом, как пласт торфа, который лежал в земле тысячи лет и сохранил структуру.

— Я та, кто помнит всё, — сказала она. — В твоём мире меня звали Авдотья Хорхой. Я умерла сто лет назад. Но я осталась в трещине. И теперь я пришла сказать тебе: не бери копье.

Глеб хотел спросить: «Как вы узнали про отчёт Кенеля?» Или: «Что значит „умерла, но осталась“?» Или: «Как вы оказались в Раздольном в три часа ночи при минус двадцати пяти, без сапог?»

Он заметил — ноги старухи были босыми. Ступни лежали на снегу, и снег под ними не таял. Просто лежал — как под любым другим предметом. Ни следа тепла, ни намёка на таяние. Будто старуха не касалась земли — будто она висела в воздухе, а ноги были просто нарисованы.

— Ты читал мой отчёт, — сказала старуха. — Тот, что записал Кенель с моих слов. Ты думал, я сказка. Но я — дверь. И ты открыл меня.

— Я ничего не открывал.

— Ты читал моё имя. Ты произнёс его вслух. Ты написал его в своей тетради. Ты думал, это исследование. Но это был ключ.

Она подняла руку.

Пальцы у неё были длинными, неестественно длинными — будто принадлежали не старухе, а пианисту. Или скелету. Ногти — жёлтые, расслоённые, с тёмными полосками под ногтевой пластиной. Но крепкие — не гнулись, не трескались.

— Койнын'о, — сказала она. — Оно уже здесь.

— Где?

Она указала пальцем вниз.

Глеб опустил взгляд.

Увидел свою правую руку. Пальцы были сжаты в кулак. Так сильно, что побелели костяшки. Кости пальцев проступали через кожу, как рёбра у голодной собаки. Он не помнил, когда сжал их. Не помнил, чтобы вообще делал это усилие.

Он разжал пальцы.

Медленно — один за другим. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой.

На ладони лежал осколок белой кости.

Маленький — размером со спичечный коробок. Плоский, с одной стороны гладкий, как стекло, с другой — шершавый, как наждак. Края острые — не режут, но царапают, если провести пальцем. И посередине — трещина.

Идеально ровная. Будто кто-то прочертил её лазером. Тонкая, как волос, но глубокая — уходящая внутрь кости, в её самую сердцевину. Края трещины светились — тусклым белым светом, который мерцал, как звёзды сквозь туман.

Внутри не было темноты.

Там было небо.

Глеб смотрел в осколок и не мог отвести глаз. Не потому, что боялся — потому, что не мог. Будто кто-то приклеил его веки к глазным яблокам.

Красноватое небо. С двумя солнцами.

Одно большое — низкое, багровое, занимающее полнеба. Оно не ослепляло, но давило — как будто кто-то повесил над головой раскалённую сковороду. От него исходил свет — тяжёлый, густой, как масло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.